

продолжение

Category: Kitapcy, Romanlar

написано kitapcy | 24 января, 2025

Казнь Махамбета -7/ продолжение Книга вторая

ЖЫЛКЫ ЖАСЫ – ВРЕМЯ ЖЕРЕБЦА

*Я силён, плечист и статен,
хоть и выкован из стали,
но не хрупок, а упруг,
при стрельбе же – длиннорук,
а когда враги вокруг,
я – глашатай громогласный.*

Подо мною конь саврасый –
круп лоснится, словно воск,
грива – связка, плётка – хвост.
Я, пустив коня в галоп,
хоть и в шлемах, но достану
много вражеских голов.

Вражий стяг в его же стане,
прорываясь, напролом,
на скаку беру в полон.
Радость я вкусил побед,
славный воин Махамбет!

Махамбет Утемисулы – «Славный воин Махамбет»

+ + +

История Первая... НАСТАВНИК

– Сам еще недоучка, ханского наследника обучать будешь? – старый шаман смотрел, как ему казалось, грозно. А как по мне – жалко. И смотрел, и сам смотрелся – жалким, усталым, уже

проигравшим все, что только можно было в этой жизни, да и во всех последующих, если они причитаются такому путпересту и кафиру, как он!

– Уйди, старик, не мешай собираться в дорогу! – мне хотелось прикрикнуть, но голос отчего-то вырвался всхлипом, и я сам вмиг стал таким же жалким, как мой бывший наставник. Это меня разозлило. А его, отчего-то, наоборот...

– В доро... кхе-кха!.. в дорогу?! Скажи уж лучше – в ссылку! – старый шаман говорил сквозь смех, смеялся сквозь кашель, а глаза оставались серьезными. Мне показалось даже, что злыми. Или мне так хотелось, чтобы зол был сегодня не я один?

– Я – наставник Зулькарная!

– Уй бай, на него посмотрите! Аристотель ты наш недоученный! Вот какой у тебя Искандер – такой ты ему и наставник будешь! – старик откровенно издевался, хотел обидеть, сделать больнее. Не поддамся!

– Не я мальчишке имя выбирал!..

– Не ты! – согласно кивнул старик, прекратив смеяться, теперь уже только хитро ухмыляясь, однако глаза теперь уже перестали быть такими серьезными, веселье плясало в них шайтанское, все еще злое, и я понял, что вот сейчас он меня собирается обидеть всерьез и по-настоящему. – Тебя не спрашивали! Тебя, вообще, о чем-нибудь тут спрашивали? Хотя вроде бы советником, в твои-то юные годы! – в ставку самого ханского наследника Жангир-Керей Хана пригласили, убедили учебу в медресе бросить ради почета такого, а кем стал? Шутом гороховым? Стихами развлекаешь ханские мажилисы, сытно ешь, сладко спишь, вместо хана жертвенных животных тебе резать позволяют... да только не потому, что на самом деле почет, это так старосты кочевые пускай думают, мы-то знаем, что от страха, боится наш хан вида крови...

Ошибся я! Стерлись зубы у старого шамана, не пронять ему меня этими упреками, не обидеть. Уж сколько раз между нами обмусолен страх Жангир-Керея перед видом крови, и то, что почетное право ножом по горлу жертвенных животных проводить наследник Орды Бокеевской мне, да Исатаю доверяет, на самом деле попросту от боязни... А ведь не прав старик! Говорил я об

этом с ханом, и признался он мне в таком, что у другого степняка, может, и вызвало бы недоумение, а я его еще больше зауважал! Не крови боится мой хан, но грех убийства существа живого, чья жизнь Всевышним Создателем дана, совершать не хочет. «Не мной, – говорил мне Жангир хан в порыве искренности, доступной лишь самым близким, – эта жизнь создана, так мне ли ее отнимать?» Знаю, что шаман наш, со своим жестоким Тенгри, почитающим доблесть воина превыше мудрости государственной, никогда не сумеет понять моего хана. Мне и самому эта жестокость близка, и что такое радость воина, сразившего врага своею рукой, в битве, я по участию в дозорах с жигитами старшего моего названного брата, Исатая, против казаков, что кочевья наши грабить выходят, хорошо знаю. Знаю, и потому не скажу старому шаману ничего, пускай он думает, что такими вот словами может обидеть меня, Махамбета, сына Утемиса, близкого друга и товарища самого лучшего из ханов, что являлись в нашу степь. Пускай! Жалко его, постарел, хватку потерял, уж и обидеть никого как следует не может...

– А вот увидел он, какими глазами смотрит на сильные руки твои дочка муфтия оренбургского, и понял, что отсылать тебя надобно подальше! И Юзум своей угодит, матери подопечного твоего, и свое ревнивое сердце оградит от лишних волнений...

Вот, опять ошибся! Думал, не может меня старый волк укусить, подрастерял свои зубы, а нет! В самое сердце ударил, пробил доспех безразличия, и сам понял, что получилось у него, по глазам вижу – понял!..

– Поняла ли я? – большие, но не как у орысов, совсем другие, вытянутые, как два огромных миндаля-бадама, вверх, к разлету крыльев-бровей, глаза единственной женщины за столом, татарской красавицы Фатимы уставились на Жангир-Керея через губернаторский стол. Ее, дочь оренбургского муфтия, и наследника хана Бокеевской Орды, на этом приеме в доме у губернатора Астрахани усадили напротив друг друга, и все это

время глаза их словно вели свою, особую схватку, гораздо более серьезную, нежели выражали их речи. Впрочем, в речах Фатима была вполне благопристойна, и только тон выдавал дерзкий нрав прекрасной татарочки:

– Конечно же, я поняла! У меня кормилица была из киргизок, так что и песни ваши мне совершенно не чужие, и язык ваш мне вполне знаком!

– Тогда почему же вы говорите со мной по-русски, сударыня? – Жангир-керей спросил хоть и с кажущейся укоризной, однако во всем был сама любезность, холёные руки его предвосхищали попытки неловких губернаторских лакеев прислуживать даме, и наполняли бокал морсом из хрустального графина раньше, чем тот или иной из домашних халдеев Андриевского успевал хотя бы потянуться за ее бокалом. Фатима с улыбкой принимала ухаживания своего визави, и почти ни на кого другого за весь ужин не посмотрела. Ну, разве что на акына, позабавившего собрание исполнением собственного сочинения степняцкой песни.

– А как же иначе, господин Букеев?! Ведь, право, это было бы невежливо по отношению к нашему хозяину, и могло бы вызвать его недовольство, не так ли, господин генерал-губернатор? – Фатима повернулась к его превосходительству, восседавшему во главе застолья.

– Никаких чинов, любезная моя, для вас я только и только Степан Семенович, и никак иначе! И уж какое может быть недовольство, право же... – Андреевский выглядел весьма довольным – что состоянием, в котором обнаружил воспитанника своего, когда-то пребывавшего в доме его в качестве аманата, а ныне ставшего искренним другом, Жангир-Керея, а того паче радовал генерал-губернатора назревавший ныне под кровом его альянс, выпестованный в качестве компромисса между Астраханью и Оренбургом в определении своего влияния на приуральские земли и киргизов, их населяющих.

Генерал-губернатор оренбургский, Петр Кириллович Эссен, человек педантичный, службу государеву мыслил исключительно в категориях жесточайшей дисциплины, вольностей павловских,

дарованных киргизам орды букеевской, в душе, видать, вовсе не одобрял, хотя из уважения к государю, когда-то самолично пожаловавшего его золотою шпагой, супротив политики покойного ныне монарха характера не выказывал, однако уравнивал все вольности сии истинно армейскою требовательностью. И хотя со Степаном Семеновичем взгляды в том, как следует обращаться со степным людом, у Эссена расходились, однако интерес бывшего военного к медицинским наукам, и немалые достижения на этом поприще старика Андреевского, не могло не возыметь влияния примиряющего, и даже более того, обязывающего к уважению. От уважения того и принял Петр Кириллович каприз старика, посоветовавшего не ущемлять гордости степных султанов директивами всяческими, но решить все тоньше, «по-восточному», как выразился сам Андреевский. «Византийщина этот прожект ваш, почтенный сударь, однако поелику так почитаете нужным...» — с такой вот резолюцией согласился Эссен на план Степана Семеновича, но настоял, чтобы девицу для брака с султаном земель приуральских выбирали из кандидатур не Астраханской, но Оренбургской Губернии.

Фатиму, дочь старшего муфтия оренбургской мечети, человека, весьма преданного государю, и преданность свою доказавшему ещё во времена пугачевского восстания, оба генерал-губернатора одобрили, нимало не поспорив. Действительный статский советник же на склоне лет своих, Степан Семенович, по вдовству да в шутку именуемый среди астраханского «общества» женихом из завидных, даже усмехнулся в седой ус: «Эх, повстречал бы я ее годков эдак дцать тому... да за ради такой и в басурманскую веру обратиться не грех, господь, поди, понял бы мя, грешного!». Эссен на браваду старческую только сухо улыбнулся, чуть двинув тонкими губами, да и выправил поездку отца-муфтия с дочерью в Астрахань по делам государственным, за государственный же кошт, и наказал пребывать не абы где, а в доме самого Андреевского, который на ту пору и пригласил к себе в гости, опять же, по оказии дел государственной важности, наследника хана Бокея, своего аманата Жангир-Керея. А тот возьми, да и привези с собой целую ораву, и ладно бы таких же, как он,

киргизов, что успели русской культурой проникнуться, а то ведь взял, к чему невесть, дикаря этого, Махамбета!

Дикарь сидел на дорогом персидском ковре, скрестив ноги, не ощущая никакого неудобства, словно на кошке в юрте своей, сняв чапан, и оставшийся в одной кожаной жилеточке на голое тело свое, и мышцы, толстыми кручеными канатами опутывавшие крепкие плечи и руки, никак не вязались с той тонкостью да мастерством, что грубые пальцы его извлекали из домбры степняцкой. Взор у дикаря был дерзкий, горел взгляд огнем той самой первой страсти, которую умудренный жизненным опытом господин статский советник и местный светоч медицинских наук, Степан Семенович Андреевский научился безошибочно распознавать в молодых людях.

А еще по глубокому жизненному опыту своему знал генерал-губернатор и медикус астраханский, что страсти такие в делах сердешных, ни к чему хорошему в делах государственных привести не могут, а потому следует вмешаться немедленно, дабы не позволить сорванцу Амуру капризом своим разрушить стройную, но пока еще столь хрупкую конструкцию политического союза, с таким тщением возводимую им с тех самых пор, как принял он в свой дом султанова первенца, аманата-заложника, ставшего для него чуть ли не сыном. Так что, не про дикаря с домброй эта дева знойная, краса татарская, всяк сверчок — знай свой шесток, кесарю — кесарево, а дикарю степняцкому уже всяко любовь в степях бескрайних сыщется, и без дочери оренбургского муфтия. Тем паче, что в таком возрасте киргизы давно уже женами обзаводиться обыкновение имеют. Фатима же, девица гордая, своенравная, дикарю в гарем не пойдет, ведь даже наследнику султана во вторые жены идти желаньем не горела. Убеждения ради пришлось обещать, что законною супружницею Жангир Керею, ежели альянс сложится, согласно государственным имперским реестрам, только ей и быть, потому как с первой своей женой, Юзум из племени буйных адаев, наследник Бокей хана никаких регистрационных процедур в канцеляриях не проводил, а значит, ежели родятся у ней дети от Жангира, то

им, согласно российским законам, и быть истинными наследниками всего, чем император хана наделить изволил: от титула, и до земель!

Амбициозна, горда не в меру, но при этом крепко держащаяся стройными ножками своими за грешную землю, дочь татарского муфтия понимала, не могла не понять, что лучшего альянса ей никто и никогда не предложит, к тому же немалые преференции были обещаны Петром Кирилловичем Эссеном отцу Фатимы. Так мыслимо ли теперь, чтобы страсть незваная, нежданная, этот дивный пасьянс перемешала?

А дикарь знай себе, подливает масла в огонь! Волшебной гибкости пальцы его, вновь забежали по грифу домбры, и вот поет он вновь, восхваляя мужество да удаль степных батыров:

*Кто ни разу не седлал
в путь походного коня,
сильной дланью не сжимал
древко острого копья,
кто без снеди и без сна
не пытался мир познать,
не протёр седлом потник,
хоть и видел, но не вник
в то, что пот течёт зимой,
хладным может быть и зной,
изголовьем – металл,
кто врага в лицо не знал,
не узрел, что им рожденный
сын взрослеет отчужденно,
кто на ложе, даже раз бы,
не купался в женской ласке,
после голода и жажды
не объелся б жирным мясом,
не облит был, хоть однажды,
ложью, подлостью и грязью,
кто не знал любви и боя,
всех лишений и мучений,*

*разве может быть героем,
даже – проще – быть мужчиной?!*

На последних словах Фатима с уже и вовсе неприкрытым интересом посмотрела на певца кайсацкого мужества, и ровно таким же неприкрытым стало недовольство хозяина дома, генерал-губернатора Астрахани, господина Андреевского, который, помимо прочих, человеколюбивых званий и качеств своих, все же являлся русским офицером, военным человеком, песня же эта, так некстати восхвалявшая боевое мужество, была довольно известна ему из особых докладов по делам нескончаемых стычек, что случались промеж степняков и казаков. Значит, вот он каков, тот самый молодой акын, что был замечен в начале этого года во время приграничной схватки между жигитами Исатая Тайманова и казачьим разъездом близ Сарайчика? Согласно докладу, троих реестровых казаков некий молодой, низкорослый киргиз с домброй у луки седла зарубил самолично, однако выдавать убийца, как и прочих, кто из кайсаков в той стычке замечен был, степняки отказались, заявив, что те бежали в Хиву, и передать их властям никак не представляется возможным. А ведь отговорку эту в письме своем Жангир Керей самолично писал!..

Самолично ни в каких стычках с применением боевого оружия участия не принимавший, Жангир Керей был ныне не в себе! К взаимной симпатии своего любимца Махамбета и строптивого, боевого вождя клана беришей Исатая Тайманова, наследник Бокеевской Орды относился с непонятной ревностью, и прикрывать боевые подвиги обоих, ему уже изрядно надоело. Однако понимал он и то, что Тайманов с его жигитами был и остается единственной силою, способной дать окорот барымтачам из яицких казаков, не желающих работать в рыболовных артелях, и в мирное время промысляющих грабежом степняцких кочевий. Генералы, майоры да капитаны русские из десяти жалоб на своеволие казачье ежели одну рассмотрят, и то в радость, а уж экспедицию супротив казаков снаряжать и вовсе не станут, не было еще такого в степи, с тех пор еще, как хан Абылай присягу верноподданическую императрице принес! И авторитет хана среди

своих людей держался на клинках исатаевских бойцов не меньше, чем на благоволении имперского двуглавого орла.

Где-то глубоко в душе он завидовал своему любимцу, его отваге и силе, тому, что среди обычных кайсаков-шаруа младшего жуза популярность акына и батыра Махамбета растет, и всяк восхищается его удалью да мужественностью, коими ханский наследник, не особо сильный здоровьем своим, похвастаться и вовсе не мог. И вот, теперь, еще и красавица Фатима смотрит на Махамбета, на сильные обнаженные плечи его, таким же точно взглядом, каким самые дерзкие из девушек на выданье обычно провожают коренастого сына утемисова, когда он гордый после очередной победы, выходит с борцовской площадки, будто ощупывают намазанное жиром-маем тело борца, да гадают, каких же сыновей могут родить от него, такого... такого...

– Дерзкий! Позор мне, и всем нам, из-за дел и слов твоих, Махамбет! В собственном доме оскорблять его хозяина, похваляясь битвами с его соплеменниками – не позор ли?! Ты ел его хлеб и мясо, пил из его посуды, и хвалишься под его же шаныраком тем, какой ты батыр – достойно ли нашего народа?!

Жангир Керей это умел! Не похвалить, но словом своим, выражая недовольство, достать до самой глубины души, заставить человека почувствовать вину и стыд – воистину, талант, необходимый правителю, и наследник бокеевский эти даром обладал вполне! Как только он заговорил, Махамбет вскочил с ковра, и теперь стоял, сжимая в одной руке домбру, словно силясь сломать крепкий гриф из клёна, вторую же с силою, но в бессильной против правителя своего ярости, сжимая в кулак. Цвет темного лица его становился и вовсе то черным, то лиловым, желваки на острых скулах перекатывались, взор же, еще минутою ранее столь дерзкий, ныне уперся в ковер, у самых ног, и не смел он поднять взгляда, а пуще всего боялся увидеть насмешку в глазах той, понравиться которой так хотелось, ради которой и совершил безрассудную ошибку свою, взывал гнев своего благодетеля и хана, опозорил свой род и племя!..

– Прочь поди с глаз моих, сейчас же! – на последней фразе голос ханского наследника и покровителя, старшего товарища и друга прозвучал, как удар хлыстом-камшой, и Махамбет бросился прочь из приемной залы, не помня себя, побежал вниз по мраморным лестницам, оставив генерал-губернатора и гостей в изрядном смущении от той сцены, невольными свидетелями которой им пришлось стать.

Установившуюся неловкую, гнетущую тишину нарушил Мустафа-ходжа, старший муфтий Оренбурга и отец красавицы Фатимы. Голос его, хорошо поставленный, полный поучительных интонаций, как и положено духовному наставнику, звучал негромко, но, в свою очередь, заставил устыдиться на этот раз самого Жангир Керее:

– Молодость может сподвигнуть на всяческую ошибку человека простого, не обремененного властью, но правителю своего народа даже молодость не является оправданием для публичного унижения подданных своих. Я, пожалуй, пойду и поговорю с юным... как его? Махамбет, сын Утемисов? А когда приведу, надеюсь, что наше застолье будет протекать в мире и согласии! – сказал ходжа, и выходя, бросил быстрый, наполненный укоризны взгляд... нет, не на Жангир Керее, но на свою дочь, кокетство которой старый муфтий и считал истинной причиной случившейся неловкости. Впрочем, сама Фатима так не считала, судя по тому, что никак не смутилась от проявления отчего гнева, и даже напротив, дерзко вскинула головку, и чуть насмешливо улыбнулась.

Качая головой, Мустафа ходжа спустился по лестницам, гораздо степеннее и от того медленнее повторив путь Махамбета к выходу из генерал-губернаторского дома. Изгнанного ханом акына он обнаружил в губернаторском саду, на центральной аллее, усаженной кипарисами и крымскими рододендронами. Коренастый степняк казался чем-то дивным, чужеродным в окружении буйно цветущей растительности, которая вообще-то сама была чужою в этих краях, завезенная и заботливо привитая стараниями человека в этих краях, изначально не родивших такую зелень. Казалось, что гнев и смущение уже выветрились, покинули душу и разум Махамбета, вытесненные красотой этих чудесных растений –

с такую радостной улыбкой на лице и каким-то даже детским изумлением он разглядывал окружающее его цветочное великолепие.

Старый муфтий приблизился к сыну Утемиса, и обращаясь к нему, заговорил языком степным, наречием киргизов Младшего Жуза:

– Уа, Махамбет! Разве годно избранному ученику самого Пір Бекета такое невоздержанное поведение? Знаешь ведь, а коль не знаешь, так мог бы и догадаться, что дочь моя хану твоему сужена, и не гоже тебе песнями да удалью перед чужою невестой хвалиться. Хотя..., – старый татарин тут сделал паузу, и в зеленых глазах его мелькнуло что-то такое, что совсем другой наставник-ходжа в почти уж насильно позабытом Белом Медресе назвал бы «огнем хитрости шайтана». Недолгой была эта пауза, однако сказанная вослед мысль еще сильнее впечаталась в разгоряченное, и от того подобное раскаленной меди, сердце Махамбета: – Хотя, если бы это довелось решать мне, я бы с честью назвал сыном тебя, сын кочевого старосты Утемиса, чей талант к изученью Пути пророка нашего Мухаммеда отметил сам Пір Бекет, нежели ханского наследника, чье воспитание доверили гяуру-христианину, и который сам не считает нужным ни вершить ежедневный намаз, ни искоренять язычество шаманов лжебога Тенгри на вверенных ему землях!

Что-то лисье было в лице старого татарина, говорившего такие слова ему, Махамбету, в самом сердце губернаторского сада, этом средоточии и доказательстве, как ему казалось, истинной мощи империи русской. Еще не доводилось ему сталкиваться в бою с войсками русской регулярной армии, казаков же он не боялся, и даже лично довелось побеждать их в бою, так что трепета перед русским штыком этот степняк не ведал. Но вот то, что видел он в городах русских, эти каменные дома, библиотеки, хранящие множество бесценных книг, и эта воистину чудесная способность растить деревья там, где отродясь была лишь только голая степь – вся эта способность к созиданию казалась ему истинным свидетельством имперского могущества. Может, поэтому, а может, еще и потому, что само значение последней фразы

татарского муфтия уж очень приятно было ему слышать, но не заметил от природы пронизательный Махамбет этого лисьего, хитрого оскала, прорвавшегося на миг сквозь маску благонаравия и мудрости.

И потому отвечал татарскому муфтию он искренне, со всем жаром своего горящего сердца:

– Все верное сказал ты, ходжа, и вину свою я признаю, и прошу у тебя прощения, и слова твои мне душу лечат. Все верно, кроме того, что не ученик я Пір Бекету, хоть и вправду отмечен был им когда-то. Наставником в изучении Ислама был мне суфий На Сим из Белого Медресе, его я ученик, а теперь хочу сказать, что с радостью назвал бы своим наставником и тебя. Найти суфия-наставника в наше время – что может быть ценнее в этой брэнной жизни?!

– Кхм..., – татарин кашлянул в кулак, прикрывая удивление и еще более увеличившийся интерес свой к этому степняку: – Суфий, говоришь? Нет, сын Утемиса, я не следую учению суфиев, у нас, татар, что испокон обретаются вдоль реки Едиль, редко сыщешь последователя суфиев, мы придерживаемся пути имама Абу Ханифы, самого близкого к учению Пророка Мухаммеда, Мир Ему, и родичей твоих к этому же пути приобщить стараемся. С суфиями у нас... кхм... есть разночтения по многим вопросам, но интересно мне стало, что за медресе такой, о котором я никогда не слышал?! Где оно находится, и можно ли человеку, ищущему истину, найти его, чтобы поговорить с наставником, провести беседы о служении создателю, укрепить иман-веру и усилить илим-знания свои?

Смутился Махамбет. Вспомнил, что нежелательным считалось упоминание при чужих о самом существовании Ак Медресе, и хоть не было на это запрета прямого, но само собою подразумевалось, что вести разговоры о суфийской школе с непосвященным было крайне нежелательным, и до сих пор никому, даже покровителю своему Жангир Керей, не рассказывал ученик ходжи На Сима о том, где именно довелось ему учиться. Только он сам, отец его, не имеющий обыкновения много болтать, да шаман, вот и все из

людей, известных ему, кто знал о суфийском медресе в Сарайчике! Однако сладкий мед вовремя произнесенной лести уже проник в трещины души, затушив всякие возможные подозрения, подавляемый же гнев на весь мир за несправедливость, столь присущий всем влюбленным, притупил осторожность, и вскоре Махамбет, ничего не утаивая, оживленно рассказывал ходже Мустафе о днях, проведенных им в Сарайчике.

Степан Семенович Андреевский смотрел из высокого окна, как по центральной аллее губернаторского сада идут, рядышком, буйный степняк, оживленно что-то рассказывающий, и рядом семенит татарский муфтий, внимательно слушающий и кивающий, кивающий... О чем говорили они, генерал-губернатору отсюда было никак не услышать, однако старик чувствовал благодарность к отцу будущей супруги своего воспитанника за то, что тому удалось справиться и разрешить возникшую на столь важном этом приеме неловкость.

Чуть позже и старший муфтий Оренбурга, и сам провинившийся Махамбет, вернулись в дом, и присоединились к чаепитию и десертам, традиционно изобильным в Астрахани. Казавшийся до того буйным степняк, вовсе утихомирился, смиренно принес извинения свои; татарского муфтия иначе, как ходжа-наставник, уже и не именовал, на дочь же его даже не смотрел. Впрочем, как и на друга и покровителя своего, Жангир Керей. Хотя тому и дела до внимания со стороны Махамбета никакого не было, потому как внимание это было бы нынче вовсе не желательным, настолько удачно складывалась беседа с умной и красивой Фатимой, которая, обнаружив такое взаимопонимание между своим отцом и дерзким акыном, потеряла к последнему всяческий интерес. Оставшееся время приема прошло чинно, благородно, безо всяческих пассажей. Что только радовало!

+ + +

Радуетса, глядите! Старый шаман даже не скрывает радости своей, что пробил спокойствие мое, заставил болеть сердце, казалось бы, излеченное моим новым наставником. Многoму научил

меня этот старик, еще большему – наставник мой суфийский, ходжа На Сим, а вот как с любовным недугом справиться – не научили. И только новый мой наставник, отец прекрасной Фатимы, ходжа Мустафа, казалось мне, мудростью своей, что гораздо ближе к реальности нашей, земной, без всей этой греховной волшбы, что у суфией да язычников Тенгри, сердце, раненное любовью, вылечил... А этот опять заскорузлыми пальцами своими, грязными степной пылью ногтями, да по зарубцевавшимся ранам!.. Как бы его обидеть сильнее?

– Прав был ходжа На Сим! Глуп ты, старик! То, что ты пытаешься сделать – на самом деле предательство. Народ свой предаешь, назад тянешь. Меня предаешь, оскорбляя, заставляя страдать. Кого ты еще не предал? Учение суфийское – предал, обратно к язычеству вернувшись, хана своего каждым таким разговором предаешь!.. Знать тебя не желаю, предателя! Не наставник ты мне боле, и не разговаривай со мной, не входи под шанырак юрты моей, не будет тебе в ней угощения, а только побои. Я же под один шанырак с тобой и сам не войду, и под этим не останусь!

Вижу – проняло старика! Аж побелел, как полотно-саван, которым мертвецов заворачивают. Жалким таким, бессильным мне кажется он сейчас, бывший мой наставник. Самое время оставить его. Пусть знает, каково это, обижать Махамбета, сына Утемиса!

Схватил я уже собранную котомку свою, и вышел из юрты, оставив онемевшего старика шамана. Пусть мучается. А я в Россию еду! Туда, где сила! Буду сыну ханскому – наставником!..

+ + +

Шаман смотрел, как Махамбет с презрительной усмешкой на лице отводит полог юрты, выходит прочь. Не окликнул, не смог. Сил не хватило. Знал, что если остановит, то должен будет рассказать то, что скрывает от него новый наставник, муфтий татарский, тесть новой ханской жены. Сам шаман об этом узнал недавно. Сначала – увидел во сне. Как казачье ополчение окружило тайное место, до сих пор скрытое силой тайного знания

суфиев от нежелательных взоров. Непростые то были казаки, из «перевыкрестов», отказавшихся от старой веры, и перешедших в никонианскую, чужие даже среди своих соплеменников. Более сотни таких держал при себе в Оренбурге генерал-губернатор Эссен, и использовал только для особых целей. Карательных – супротив своих же казаков, или таких вот дел, коими ведали церковь да мечеть, что службу имперскую вместо службы Создателю несли. И привели они с собой непростого же человека, шамана-недоучку, пойманного в степях близ моря Аральского, чья семья держалась в заложниках у империи, и заставили снять завесу защитную, открыть доступ к Белому Медресе.

А дальше – была бойня. И узрел старый суфийский наставник ходжа На Сим, как раскрываются алые цветы на белых одеждах талибов-учеников, в чьи тела входит свинец, как рассекают плоть мальчишек, еще совсем детей, казачьи сабли, одним ударом, от ключицы до пояса, как на всем скаку поднимает казак в черной бурке на пику тело ребенка, в последний миг от страха пытавшегося прикрыться Книгой... Сквозь кожаную обложку старинной работы проходит острое пики, пробивает страницы со священными текстами, мудростью, бессильной против стали, и дальше, в самую плоть, в сердце, еще миг назад бившееся верой в Создателя, вонзается, и выходит через узкую детскую спину...

Видел в своем сне баксы-шаман, как умер суфийский ходжа На Сим. Дважды умирал там этот человек. Сначала умер суфий миролюбец, освободив дремавшего долгие годы воина мусульманской школы У-Шу, уйгурского генерала повстанцев, грозы циньских императорских войск. Отнял он пику у одного из казаков, по ходу сломав ему шею, коня же заставив рухнуть так, чтобы и ноги себе переломать, и спину ему защищать. И еще восемь раз грех смертоубийства взял он на себя в этот страшный день. Восьмерых «перевыкрестов» отправил... в рай ли православный, никонианский, в ад ли авраамитский, никому то не ведомо, а кто обратное утверждать станет – врет, гад!

И только металл не врет, лишая жизни, сталь клинка ли, свинец ли пули литой... Очнулись казаки, окружили мечущегося в

смертельном танце-припадке старика, и давай поливать огнем из ружей своих. Во второй раз погиб один и тот же человек в этот день, и никто не воздал ему почестей, потому что велено было атаману карательной сотни казачьей ни одной живой души еретической не оставлять, а школу сжечь, и место то особой солью засыпать.

И последнее, что видел во сне своем старый шаман — как выл, глядя в небо, недоучка, которого привезли силою из степей приаральских, выкатывал глаза в безумии, и пожалел его казачий атаман, отрубил голову одним ударом шашки, и с тем ударом клинка пропал сон. Чтобы увериться, выехал прямо в ночь, коня чуть не загнал, а когда прибыл, застал на месте Белого Медресе лишь пепел, перемешанный с солью, развалины стен, да обгорелые человеческие кости. Детей, подростков... и одного старика. Хоронить не стал — нужды не было. Что огнем очищено, непременно к Отцу-Небу, в Присутствие Тенгри отойдет! И кто обратное утверждать станет — врет, гад!

И только сердце — не врет. И шепчет сердце, и разум в кои-то веки с ним соглашается, когда называют они того, кто выдал служителям пустынного бога место последнего приюта суфиев в степи. Имя того, чей разум ослепила любовь, а разум — лесть, да чудеса имперского могущества. Имя это — Махамбет!

+ + +

*Юркий жаворонок в небе,
а гнездо его в траве.
коль вода траву затопит —
загорюет мать в беде.
Черный сокол, белый ястреб
гнезда вьют в тени берез,
коль собьет гнездовья ветер —
загорюет мать без слёз.
Чем величественнее горы,
тем прохладней даже снег.
Чем бесчисленней истоки,*

тем, как море, устья рек.
Если войско легкокрыло
выходило шествовать,
то, конечно же, батыры
возглавляли эту рать.
Тот, кто вовсе не застенчив,
но отборнейших кровей, –
больше слушает, но меньше,
потешает слух людей.

Махамбет Утемисулы – «Жаворонок» Romanlar